

Илья Салов

# Крапивники



Илья Салов

**Крапивники**

«Public Domain»

1879

**Салов И. А.**

Крапивники / И. А. Салов — «Public Domain», 1879

«Так вот знайте, что есть на свете такие дети, у которых нет ни отцов, ни денег, ни документов, ни родных; часто нет даже матерей, ...и которых народ прозвал крапивниками...»

# Содержание

I	5
II	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

# Илья Александрович Салов

## Крапивники

### I

Одним из самых усерднейших товарищей моих по охоте был колычевский земский фельдшер, Михаил Михайлыч Тюрин. Стоило только прослышать ему о приезде моем на хутор, находившийся верстах в десяти от села Колычева, как Михаил Михайлыч немедленно являлся, поздравлял с приездом. Справлялся о состоянии здоровья и заводил речь об охоте. Это был человек лет тридцати пяти, среднего роста, с небольшими черными усиками, которые он постоянно подгрызал зубами, и черными же густыми волосами. Волоса эти не давали ему покоя; они поминутно сваливались ему на лоб, почему он поминутно же отмахивал их назад. Это отмахивание и затем беспрестанное поддергивание спускавшихся панталон составляли весьма характерную особенность его манер, так что представить себе Михаила Михайлыча без этих отмахиваний и поддергиваний было делом невозможным. Михаил Михайлыч был фельдшер искусный, набивший руку возле докторов, но весьма небрежно относившийся к своим обязанностям. Он как-то льнул к помещикам. В домах помещиков, у которых случались больные, он готов был жить по целым неделям, не спать по целым ночам, приходивших же к нему больных, крестьян гонял чуть не в шею. И не потому, чтобы Михаил Михайлыч был жаден, корыстолюбив, а только потому, что в домах помещиков он встречал приличное угощение и мог поболтать. Бывало, встретишь его едущим на тележке и спросишь: «Куда?» – «К Андрею Спиридонычу, все дети хворают!» А возле домика его, бывало, целая толпа мужиков и баб. «Чего же вы ждете? – спросишь их, бывало: – ведь фельдшер уехал!» – «Он посулил сейчас вернуться! – отвечает толпа, – подождать приказал!» И ждет, бывало, эта толпа Михаила Михайлыча вплоть до поздней ночи и, не дождавшись, расходится по домам.

Чуть, бывало, прихворнешь, так в ту же минуту за Михаилом Михайлычем, и он немедленно являлся.

– Что такое с вами? – спросит, бывало, становясь у притолки, отмахнув волосы и поддернув панталоны.

– Нездоровится что-то...

– Что же именно вы чувствуете?

– Да так, скверно как-то...

– Позвольте язычок.

И, посмотрев на язык и даже слегка пощупав иногда его мизинцем, проговорит:

– Н-да-с, налетец есть... А как насчет пищеварения... стул имели-с?

– Нет.

И, опять отмахнув волосы и поддернув панталоны, он прибавлял: – Сию минуту-с я лекарство составлю-с...

– Да что это со мной? – спросишь его, бывало.

– Ничего особенного нет-с, так, маленькое раздражение двенадцатиперстной кишки.

Раздражение кишки этой, воспаление слизистой оболочки и надкостной плевы были излюбленные им болезни, но тем не менее он все-таки вылечивал и потому пользовался доверием. Охотник был великий Михаил Михайлыч участвовать и на похоронах своих пациентов. Чуть, бывало, умрет кто-нибудь из чистых его больных, как он немедленно являлся, плакал, делал перед покойником земные поклоны, а при выносе подхватывал гроб и усердно тащил его в церковь и на кладбище.

– Нельзя-с, – говорил он. – Последний долг отдать надо-с...

Вот этот-то Михаил Михайлыч, прослышав о прибытии моем на хутор, явился однажды ко мне.

– С приездом-с, – проговорил он. – Здоровы ли?

– Ничего, благодарю, слава богу...

– Слава богу – лучше всего-с. А я к вам по делу-с...

И Михаил Михайлыч засмеялся тоненьким смехом.

– Что такое?

– Уток много очень на графских болотах; поохотиться не хотите ли?..

– С большим удовольствием; только у меня собаки нет.

– Собака у меня есть отличная; мне Николай Федорович подарил; я у него детей лечил, – он мне и подарил. По красной дичи, точно, не годится – горяча очень, а по уткам – золото! Послушная, вежливая... куда угодно посылайте, ползет, слова не скажет... Так вот-с, приезжайте завтра пораньше ко мне, и отправимся.

И Михаил Михайлыч принялся раскланиваться.

– Вы куда же? – спросил я. – Погодите, побеседуем;..

– Нельзя-с: Александр Александрыч присылал, сегодня к ним доктор Константин Игнатьич приедут из Тамбова, так я должен быть там-с.

– А водочки?

Михаил Михайлыч поддернул панталоны, погрыз усы и улыбнулся.

– Водочки, ничего, можно-с: это не вредно...

На другой день часов в пять утра я был уже у фельдшера. Он стоял возле своей аптечки и составлял какое-то лекарство.

– Сейчас, сию минуточку-с, – проговорил он, взбалтывая пузырек. – Вот только лекарство сделаю-с.

– Кому это?

– Да вот его матери, – проговорил он, указывая движением головы на робко прижавшегося в угол мальчугана с истомленным, болезненным лицом и одетого в какую-то женскую кацавейку. – Мать у него больна, он и пришел за лекарством.

И тут же, обратясь к мальчику, проговорил, подавая пузырек:

– Ну вот, на, беги скорей; через час по столовой ложке. Слышишь, что ли?

– Слышу.

– Ну, валяй.

И, обратясь ко мне, проговорил:

– Дигиталису намешал – пускай пьет...

Мальчик завозился, уцепил пузырек и вышел. Но только что успел показаться на улицу, как целая толпа уличных мальчишек окружила его и принялась кричать во все горло и на разные голоса: «Крапивник! крапивник!»

Заслышав этот крик, фельдшер в одну секунду подскочил к окну и, по пояс высунувшись в него, закричал сердито:

– Вот я вас! вот я вас, подлецы!.. Что, он трогает, что ли, вас?.. Вот я вас, мерзавцы!.. Эй ты, Сережка! Ты что дразнишься, чего орешь!.. Что глаза вытарасил? Вот я те хохол-то натереблю! Иди, иди, Ванятка, небось не тронут. Вот только смейте у меня тронуть... всем хохлы натереблю!..

Крики мгновенно затихли, и мальчик с пузырьком, вырвавшись из толпы своих сверстников, бросился бегом по улице.

– Чей это был мальчик? – спросил я фельдшера.

– Агафьи Степановны.

– Почему же его крапивником называют?

– Как почему? Известно почему – ведь он незаконный...

– Это я знаю, но почему крапивником-то зовут?..

– Да ведь их всегда уж так называют.

– Почему же?

Фельдшер засмеялся и принялся намекать что-то насчет огородов, крапивы и т. п., а вслед за тем снова принялся бранить мальчишек.

– Этакie подлецы! – говорил он. – Прохода не дают. Каждый раз вот так-то, а мальчик-то нервный, мечтательный...

– Как мечтательный?

– Так, мечтательный, словно сумасшедший. Уткнется смотреть на вас... уж он смотрит-смотрит... вы ушли давно, а он все на это место смотрит. От матери не отходит; муж бить начнет ее, а он уцепится за ее платье да свою спину и подставляет... А то вдруг плакать примется... Мать спросит: «О чем ты плачешь, Ванятка?» – «Так, ничего, говорит, сердце что-то защемило!»

– А разве Агафья Степановна нездорова? – спросил я.

– Вот это отлично! – вскрикнул фельдшер. – Умрет скоро, а вы про здоровье спрашиваете!...

– Что вы говорите!.. Первый раз слышу.

– Это верно-с. Чахотка – другое легкое гниет, а при таком положении долго не наживешь. Сами знаете, какое житышко-то было... нынче побои, завтра попреки... Однако вот что-с, – добавил он скороговоркой: – времени-то терять нечего, давайте-ка ехать... *До лясу-то* мы на ваших лошадях поедем, а там пехтурой пойдем.

– Ну что же, поедемте.

– Часам к двенадцати мы подойдем к пчельнику Ивана Парфеныча, закусим там, отдохнем, а когда жар схлынет, опять на озера зальемся.

– А Иван-то Парфеныч все еще жив?

– Что ему, дураку, делается!

И, отворив дверь в сени, он принялся кричать:

– Валетка! фить, иси... Валетка, сюда, скорей!..

В комнату с визгом влетела собака, прыгнула на грудь фельдшера, прыгнула на грудь ко мне, сделала круга два по комнате, страшно топая ногами, и потом вдруг, брякнувшись среди комнаты на бок, принялась хлопать хвостом.

– У, пес, у, подлец, – говорил фельдшер, лаская собаку. – Ах, умница! Ах, красавица!.. Ну, ну, целуй, целуй... – И, подставив лицо, дал собаке лизнуть себя в щеку. – Ох ты, моя вежливая!.. Однако пора, пора!..

Мы сели на дроги, посадили с собой Валетку и поехали.

В конце улицы – почти уже «а выезде – мальчишки опять кричали: «Крапивник! крапивник!»

Мы взглянули вперед и опять увидели Ванятку. Подобрал одной ручонкой свою кацавейку, а в другой бережно держа пузырек с лекарством, он что было мочи улепetyвал по улице, преследуемый несколькими крестьянскими мальчишками. Он был бледен как полотно; испуганные глаза бегали во все стороны; он, видимо, задыхался и потому, как только добежал до небольшого домика, крытого железом, и как только взобрался на крылечко этого домика, так в ту же секунду бросился на ступеньку и, схватив себя рукой за грудь, принялся ускоренно дышать. Завидев нас, мальчишки рассеялись, и все успокоилось. Но спокойствие это продолжалось недолго. Не успели мы поровняться с домиком, крытым железом, на крылечко вышел мужчина в парусинном грязном костюме и, подойдя к сидевшему на ступеньке Ванятке, принялся теребить его за ухо.

– За что вы его теребите, Ананий Иваныч! – крикнул фельдшер, увидав эту сцену, и, засуетившись на дрогах, приказал кучеру, остановить лошадей. – За что вы его теребите!..

– Как же не теребить-то! – проговорил Ананий Иванович, подходя к дрожкам и вежливо раскланиваясь с нами. – Мать умирает, а он с лекарством посиживает себе на крылечке и ухом не ведет!.. Этакое бесчувственное животное! уж именно что крапивник. Ну что, на охоту, кажется? – добавил он, переменив тон.

– Да, на охоту, – ответил фельдшер,

– Далеко?

– На графские болота.

– Прелестные места! Ах, и я бы поехал с вами, да невозможно; так и жду, что вот-вот богу душу отдаст. Вчера я был уверен, что ночь не переживет она... признаться, даже свечей в церкви купил, воды для омовения подготовил, чтобы ночью, значит, не бегать!.. Ну нет, продышала...

И Ананий Иванович вздохнул, но, услышав всхлипывание Ванятки, обернулся и крикнул сердито:

– Ты что же тут хнычешь, крапивник подлый! Иди, иди в горницу. Иди, говорят тебе, иди, да матери лекарства дай.

Ванятка встал, отер слезы углом кацавейки и скрылся в сенях.

– Уток, вишь, пропасть! – заговорил опять Ананий Иванович.

– Да, говорят.

– Когда это? – заметил он, словно что-то припоминая. – Вчера, кажется, кузнец ходил... да, так, вчера... штук пятнадцать приволок. Одну мне подарил, жене я изжарил...

– Ну что же, ела? – спросил фельдшер.

– Так, маленький кусочек от крылышка откусила...

И, вздохнув, он добавил:

– Однако я вас задерживаю... счастливой охоты! коли много настреляете, поделитесь со мной.

И, раскланявшись с нами, Ананий Иванович направился к домику, а мы поехали своей дорогой. Часам к семи утра мы были уже на опушке графского леса.

– Ну-с, – проговорил фельдшер: – теперь лошадей можно и домой отпустить; нам все лесом придется идти.

– А как же я домой-то, пешком доберусь? – спросил я.

– Конечно, пешком! – почти вскрикнул Михаил Михайлыч. – От пчельника до вашего хутора рукой подать.

Зарядив ружья и надев на себя охотничьи доспехи, мы отпустили лошадей домой и вошли в лес, но не успели сделать и десяти шагов, как фельдшер вскрикнул:

– А про собаку-то и забыли!

И, быстро повернув назад, он выбежал на опушку леса.

– Валетка! Валетка! – кричал он, неистово махая руками. – Валетка, фить, сюда!..

Я тоже вышел на опушку.

– Ишь, подлая! – кричал фельдшер. – За дрогами увязалась. Валетка! Валетка!..

Но видя, что Валетка даже и внимания не обращала на его крики, он обратился ко мне и заговорил суетливо:

– Ради бога, поговорите с нею по-французски, ведь Николай Федорыч все по-французски с нею... Валетка! Валетка! да поговорите же, пожалуйста...

Я тоже принялся кричать, но несмотря на то, что мною были исчерпаны все французские собачьи диалоги, Валетка все-таки не возвращалась. Опустив голову и хвост, она бежала себе сзади дрозд и ничего знать не хотела. Михаил Михайлыч был вне себя от злости.

– Кучер! кучер! – кричал он. – По боку-то её кнутом хорошенько!



Кучер соскакивал с дрог, бегал с кнутом за Валеткой, но Валетка была неумолима. При виде кнута *вежливая* собака бросалась в сторону, а как только кучер садился на козлы и трогал лошадей, так Валетка опять следовала за дрогами.

– Что же мы без собаки сделаем? – спросил я.

– Ничего, мы и без собаки!.. Вода теперь теплая, озера не глубокие, я и сам лазить буду – не хуже еще Балетки. Пойдемте.

И, взглянув еще раз на собаку, преспокойно трусившую себе за дрогами, Михаил Михайлыч закричал, потрясая кулаком:

– Ну хорошо, подлая, хорошо, стой! Я тебе это припомню! Ты у меня будешь бегать с охоты! Стой!.. стой!..

Затем мы углубились в лес и пошли по направлению к озерам.

## II

Агафья Степановна (ее фамилии я не знаю) была женщина лет тридцати пяти, среднего роста, с весьма приятным и правильным лицом, степенная и даже строгая. Я встречал ее часто в церкви, где она, всегда прилично одетая, становилась у левой боковой двери и в продолжение всей обедни усердно и набожно молилась. Домик ее был на самом краю села Колычева; он отличался от остальных крестьянских изб как своей архитектурой, так и тем, что был покрыт не соломой, а железом и обнесен с двух сторон молодым, но разросшимся плодовым садом.

Домик этот в свое время, а именно лет шесть-семь тому назад, был предметом оживленных толков и пересудов, в особенности в кругу досужих соседних помещиков и помещиц. Агафья Степановна появилась на свет еще во время крепостного права и была просто-напросто дворовой девушкой села Колычева, принадлежавшего помещику Петру Степанычу Вольскому. Петр Степаныч был старик суровый, жестокий и слыл в околоте примерным хозяином и скопидомом. У него было три сына, которые все служили в гвардии и только в летнее время, по заведенной очереди, брали отпуск и навещали старика отца; матери у них давно не было. В одно из таких-то посещений старший сын Петра Степаныча, Владимир Петрович, красивый, статный гвардеец, с юным румяным лицом, небольшими черными усиками и большими черными же выразительными глазами, пленился Агафьей Степановной. Ей было тогда всего шестнадцать лет, и те, которые знавали ее в ту пору, положительно уверяли, что она была красавицей. Владимир Петрович не на шутку полюбил ее, а полюбивши, не замедлил пустить в дело все то, что практикуется обыкновенно с успехом в подобных случаях. Несколько раз ловил он ее в саду, на речке, когда она, ничего не подозревавшая, стирала белье; говорил ей про свою любовь; делал подарки, которые Агаша боялась сначала брать, и в конце концов красавица не устояла и, тоже пленившись в свою очередь ловким и красивым гвардейцем, отдалась его воле. Дело это, может быть, и не скоро бы разужалось, если бы садовник, стороживший по ночам сад от хищных набегов крестьянских мальчуганов, не был свидетелем первого любовного свидания Агаши с молодым барином.

Надо вам сказать, что господский дом был весь в саду и что спальня молодого барина помещалась в нижнем этаже. Как-то раз ночью, в конце июля, садовник, обходя сад, заметил что-то кравшееся к дому, и именно к тому окну, которое выходило из спальни Владимира Петровича, и, подойдя к окну этому, поспешно перекрестилось и стукнуло раза два по стеклу. Садовник подошел ближе и рассмотрел, что это была Агаша. Окно в ту же минуту отворилось, показался барин и, схватив Агашу подмышки, поднял на воздух, поцеловал ее на лету и перенес в комнату. Окно затем затворилось, шторка была опущена, раздался шелк шпингалеты, и все смолкло. На заре шторка опять поднялась, окно распахнулось, и барин с Агашей показались снова. Высунулся барин по пояс в окно, посмотрел во все стороны и, не заметив притаившегося в кустах сирени нескромного садовника, взял опять Агашу подмышки, перенес через подоконник и, бережно опустив ее на землю, долго не выпускал из рук, любуясь ею. Наконец, перевесившись через окно и крепко-крепко поцеловав ее в лоб, прошептал: «Ну, Агаша! так ты, моя, значит?» – «Да», – отвечала она. «Ты будешь любить меня?» – «А вы?» – спросила она робко. «Клянусь тебе!» И Агаша, обняв барина, прильнула губами к его губам. Окно затворилось, Агаша поспешно отошла от дома и вскоре скрылась за кустами вишен. На другой же день о всем случившемся садовник рассказал повару, повар по секрету экономке, и тайна сделалась известною всей дворне.

Я сказал уже, что старик Вольский, отец Владимира Петровича, был человек строгий, упорный и хотя сам был великий охотник до женского пола, но что позволял себе, того не позволял детям. Человек он был злой, а после освобождения крестьян обозлился до того, что сделался желтым и ни с кем не говорил ни слова. Тяжелое то было время для служивших при

нем. Никто не мог угодить на него, как бы того ни желал. Смотрел он на всех исподлобья, нехорошо как-то, и подозревал, что его собираются зарезать. Подозрения этого он не сообщал никому, но так как с некоторых пор ходил не иначе как с револьвером в кармане, то становилось ясным, что он боялся за свою жизнь. Нахмурит, бывало, брови, смотрит зверем и не только что с прислугой, даже с сыном слова ласкового не скажет. Старик бросил хозяйство, не ездил в поля, махнул на все рукой и только, словно волк, косился на всех. Нечего говорить, что при таких порядках старика боялись все, не только слуги, но и сам молодой барин. Вот почему и связь его с Агашей должна была сохраняться в великой тайне. Узнай он тайну эту, и рука его не дрогнула бы положить на месте и девку-холопку и сына.

Так жил старик в своем имении, но, наконец, не выдержал, и когда подошло время начать переговоры с крестьянами об уставной грамоте <sup>1</sup>, он бросил имение, уехал в Москву (многих таких приютила в то время Москва) и предоставил сыну Владимиру делиться с мужиками как знает. Мужики собрались было проводить своего старого барина, с которым всю жизнь прожили, пришли было поблагодарить его за *неоставление*, пожелать счастливого пути, но старик приказал всех разогнать и уехал ни с кем не простясь. Только прощаясь с сыном, он прошептал ему дрожащим от злобы голосом: «Постой, ты увидишь... эта меньшая братия самого бога слопают... помяни меня!»

Как только карета выехала за околицу, так все село словно воскресло; веселью конца не было. Владимир Петрович сошелся с мужиками шутя, без затруднений; приехал затем посредник, и дело с уставной грамотой покончилось дня в два. Весело было и в барском доме; барин перевел Агашу в дом, отвел ей особую комнатку, а немного погодя, съездив с нею в город, раздел словно куколку. Тайна теперь не скрывалась, и досужие соседи и соседки затрещали, как сороки, и принялись по ниточке перебирать всю эту историю; в особенности же возмущались те отцы и матери, у которых на шее были взрослые дочери. Владимир Петрович был, однако, не из таковых и над всеми этими толками и пересудами только подсмеивался. Агаша была счастлива; она искренно и нежно любила Владимира Петровича и, встретив в нем взаимную любовь, не желала ничего большего.

Так шло время, как вдруг зимой получена была из Москвы телеграмма, извещавшая, что старик Вольский разбит параличом и что с часу на час надо ждать его смерти. Владимир Петрович поскакал в Москву (железной дороги тогда еще не было), но старика не застал; он умер за день до его приезда, а недели через полторы тело старика в дубовом гробе и железном футляре было привезено в Колычево. Собрались и остальные сыновья. Гроб, как подобает, поставили в церковь, наехали попы и монахи, отслужили обедню, панихиду и опустили в семейный склеп. Помянув родителя, сыновья разделили отцовское наследство, и Колычево, по раздельному акту, досталось на долю Владимира Петровича. После раздела все разъехались, уехал в Москву и Владимир Петрович, взяв с собою Агашу. Вскоре он вышел в отставку и, посвятив себя хозяйству, каждый год и на все лето приезжал в Колычево. Так прошло лет девять, и, наконец, у Агаши родился сын, Аркадий, а года полтора спустя и другой сын, Иван – тот самый, которого мы видели у фельдшера. С появлением детей Агаша почувствовала себя еще счастливее и радовалась от души, что оба походили на Владимира Петровича; те же черные глаза, тот же нос с горбиной – разница была только в том, что старший сын, Аркаша, был и здоровее и бойчее младшего, Ванятки.

Однако года через два после рождения первого сына дела начали немного изменяться. Приехав как-то раз из Москвы, и Владимир Петрович и Агаша словно переродились. Всем бросилась в глаза эта перемена. Оба они были какие-то скучные – точно больные, а Агаша так и вовсе, вовсе изменилась... Резвая и живая, она сделалась мрачной, избегала разговоров

---

<sup>1</sup> *Уставная грамота* – документ, которым во время крестьянской реформы 1861 года определялись взаимоотношения между помещиком и крестьянами, живущими на помещичьей земле.

и редко показывалась людям. Все это заинтересовало, конечно, окружающих, пошли толки, догадки, предположения, а когда Агаша объявила как-то кому-то из дворни, что в Москву больше не поедет, а будет постоянно жить в Колычеве, то догадки эти дошли до таких размеров, что каждый невольно путался в них. К общему изумлению, именно в это самое время Владимир Петрович принялся строить какой-то домик. Каждый день ходил он на эту постройку. Чуть, бывало, выкатится солнышко из-за леса, расстилавшегося по горизонту, как Владимир Петрович, в летнем костюме и соломенной шляпе, шел уже на эту постройку. Он следил чуть не за каждым клавшимся бревном, прикидывал беспрестанно ватерпас и отвес и требовал, чтобы все было сделано прочно, чисто и хорошо. Когда таинственный домик был отстроен, Владимир Петрович покрыл его железом, построил амбарчик, небольшой сарай для коровы, ледник, и все это строение обнес досчатым забором, а перед окнами домика разбил садик и засадил его вишнями, яблонями, грушами, малиной, смородиной... Съездил потом Владимир Петрович в город, и вскоре с ближайшей станции железной дороги подъехали к домику, скрипя колесами, какие-то телеги с какими-то громоздкими вещами, зашитыми в рогожи, и на рогожах этих крупными черными буквами была написана станция выгрузки. Как только подводы эти остановились возле домика, так подошли и Владимир Петрович с Агашей. Стали разворачивать рогожи, и из рогож этих начали появляться запыленные комоды, шкафчики, столы, стулья... На одной из рогож была надпись: «Верх, осторожно»; откупорили и эту рогожу, под рогожей был ящик... заскрипели ржавые гвозди, отворотились доски, и зеркало блеснуло на солнце, да так ярко, что Агаша даже зашурилась и весело засмеялась. Долго помнила она этот солнечный луч! Ходила и Агаша на постройку и радовалась, глядя на свиваемое гнездышко. Когда домик был отстроен, пронесся слух, что Владимир Петрович женится, а гнездо это свил Агаше и ее детям, а когда Агаша с детьми переселилась в домик, то слух этот сделался уже достоверным, и сама Агаша не скрывала уже, что у барина есть невеста из знатного и богатого рода. Дело, следовательно, выяснилось... Когда узнали, что домик с мебелью, садиком и всем необходимым принадлежит Агаше, так начали наезжать женихи с напмаженными лимонной помадой головами, в голубых и розовых галстуках, в фильдекосовых перчатках и *при часах*; налетел один даже в шляпе и с тросточкой в руках, но Агаша мало смотрела на этих щеголей и боялась замужества. Долго раздумывала она, что ей делать? нельзя было оставаться в девках, опасно было выходить и замуж. Наконец она надумала и облюбовала увивавшегося за нею конторщика Анания Иваныча; дело сделалось. Прощаясь с Агашей перед отъездом в Москву, Владимир Петрович сказал только: «Ну, Агаша...», но слова «прощай» выговорить ее мог, словно сперлось у него что-то в горле, и он поспешил прыгнуть в тарантас и уехать; он даже детей не поцеловал. Долго смотрела Агаша вслед удалявшемуся экипажу, и по мере того как экипаж этот удалялся, у нее словно что-то отпадало, что-то отрывалось от сердца...

Агаша выбрала себе Анания Иваныча потому, что малый он был смирный, тихий и хотя немного дурковатый, но зато не пивший водки. Она сшила мужу новую пару, купила часы с цепочкой, справила шубу, и жизнь молодых потекла как по маслу. Счастлив и весел был Ананий Иваныч; жена подавала ему чай с баранками, а он, развалясь, пил его и от удовольствия потел. Ему также приятно было сидеть на мягком диване и чувствовать себя чем-то вроде барина. Заложив руки в карманы штанов, он широко шагал по комнате и, поминутно подходя к зеркалу, расчесывал волосы; словом, он был счастлив, и только при виде детей, крапивников, при виде Аркашки и Ванятки, Ананий Иваныч словно хмурился. Так прошло полгода; наконец Ананию Иванычу показалось малым жалованье конторщика, показалось неприятным находиться на службе Владимира Петровича, и он определился волостным писарем в соседнюю волость. Тяжело было Агаше расставаться с домиком, но делать нечего, ехать было необходимо. Они поселились в том же доме, в котором помещалось и волостное правление; только одни широкие сени с чуланом, в котором в летнее время отдыхал его степенство господин волостной старшина, отделяли квартиру писаря от присутствия правления. Скучно показалось

Агаше в скучной степной деревне, слова не с кем было перекинуть, и многое из прошлого, скучая, вспоминала Агаша. «Ах, жак тогда жилось хорошо!» – вырывалось иногда из груди Агаши, и слезы навертывались на глазах. Не нравилось Агаше и то, что Ананий Иваныч начал привыкать к водке. Как только собирался сход или суд, так Ананий Иваныч оказывался пьяным. Тяжело было смотреть Агаше на все это безобразие. Отворит она, бывало, дверь своей квартиры, заглянет в сени, а там шум, гвалт, пьяный старшина, пьяные мужики, водка в железном ведре, пьяный муж... и она спешила скорее захлопнуть дверь. Раз как-то она решилась попросить мужа бросить эту пьяную службу, переселиться опять в Колычеве и заняться другим каким-либо делом, но пьяный Ананий Иваныч обругал Агашу «барской наложницей» и приказал молчать. Агаша даже вздрогнула от этого названия и проплакала всю ночь. Однако вскоре, к удовольствию Агаши, Анания Иваныча отрешили от этой должности, и они переехали опять в Колычево, в свой заветный домик. Колычево было село совершенно иного свойства – не то что какая-нибудь степная деревня. Там был базар, лавки, лавочники, трактир с шарманками, земский фельдшер, школьный учитель, письмоводитель мирового судьи, два-три *брехуна*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.